

МИФЫ И РЕПУТАЦИИ

Анна Ахматова: К 40-летию со дня
КОНЧИНЫ

Иван Толстой

05 марта 2006



Анна Ахматова

Иван Толстой: Ахматова – одна из самых мифологизированных фигур в русской культуре. Сама окружившая свое прошлое завесой полутайны, она каждый свой день проживала так, что ни стихами, ни бытовой прозой сказать об этом открыто было нельзя:

Меня, как реку,

Суровая эпоха повернула.

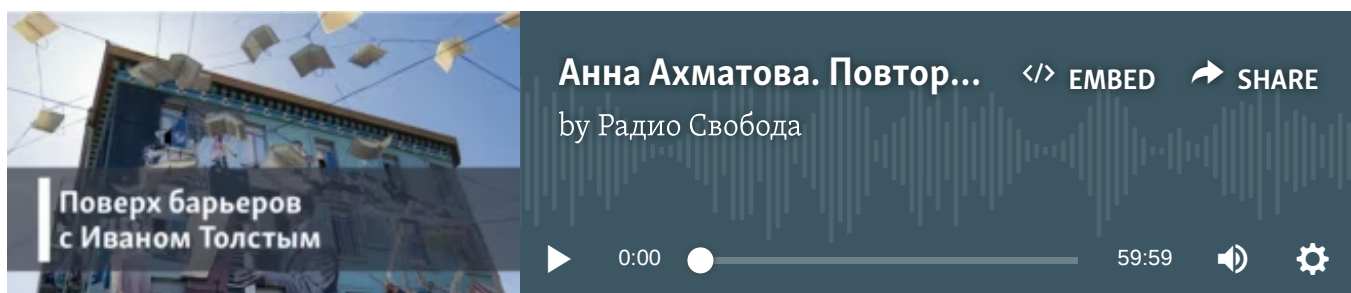
Стихи читались только особо близким и доверенным, запоминались и часто сжигались:

Эх, бумага белая,

Строчек ровный ряд!

Сколько раз глядела я,

Как они горят.



↗ Pop-out player

↓ Скачать медиафайл ✓

Наша программа сегодня посвящена послевоенной поре в жизни поэта (слова «поэтесса» Ахматова не терпела) и приурочена к 40-й годовщине со смерти. Анна Андреевна скончалась 5 марта 66-го года.

Голос Анны Ахматовой:

...А так как мне бумаги не хватило,
Я на твоём пишу черновике.
И вот чужое слово проступает
И, как снежинка на моей руке,
Доверчиво и без упрёка тает.
И тёмные ресницы Антиноя
Вдруг поднялись, и там зелёный дым,
И ветерком повеяло родным, -
Не море ли? - нет, это только хвоя

Могильная, и в накипающих пен
Все ближе, ближе... «Marche funebre»... Шопен...

Иван Толстой: Ахматовой последних лет посвящена недавно вышедшая книга профессора Тименчика, живущего сейчас в Иерусалиме: «Анна Ахматова в 60-е годы». Роман Давыдович участвует сегодня в нашей программе.

Как приняла Анна Ахматова ждановское постановление 46-го года, пыталась ли она оправдаться, и помог ли ей в ее тактике стихотворный цикл «Слава миру»?

Роман Тименчик: В первые годы после постановления она не делала никаких попыток для того, чтобы оправдаться или как-то отвести этот удар от себя. А удар был, действительно, довольно жестокий. Помимо всеобщих пятиминуток ненависти, которые проходили по всей стране, и даже в какой-то из национальных республик люди вышли на демонстрацию с плакатами «Долой соломенную поэтессу Ахматову!», так восприняв слово «салонная» из ждановского доклада, помимо всего прочего, в первое время, это было и просто лишение хлебных карточек. Она была обречена, как и Зощенко, на голод. Это была, возможно, инициатива ленинградских товарищей, о чем, со смехом, рассказывал Жданов Миловану Джиласу, что, мол, чудаки перестарались. Но все это было нешуточной угрозой жизни, существованию, потому что люди, жившие в ту эпоху, хорошо понимали, что за таким официальным разносом, за официальной анафемой может последовать и арест.

Тем не менее, ничего такого она не делала до 1949 года, когда 6 ноября был арестован ее сын Лев Николаевич Гумилев. Это была уже третья его посадка, и тогда, в отчаянии, она стала сочинять стихи к приближающемуся тогда сталинскому юбилею 21 декабря 1949 года. Помогло ли ей это, этого сейчас никто не может сказать. Николай Николаевич Пунин, ее бывший муж, который сидел в это время в лагере, в записке, переданной из лагеря уже после смерти Сталина писал, что Ахматова висела на волоске и что ее спасли стихи в «Огоньке». Ужасные, топорные, глупые, неумелые, вымученные оды Сталину. Он считал, что они ее спасли. Это ли ее спасло, или какое-то равнодушие Сталина, который не ответил на просьбу министра госбезопасности Абакумова об аресте Ахматовой в 50-м году, сейчас сказать трудно. Как бы то ни было, никаких других попыток покаяния, самобичевания и всего того, что полагалось от советского писателя в этой ситуации, от нее до смерти Сталина не последовало.

Иван Толстой : Роман Давыдович, забегаю немножко вперед, справедливы ли упреки Льва Гумилева, считавшего, что мать недостаточно сделала для его освобождения из лагеря?

Роман Тименчик: Лев Николаевич Гумилев, на мой взгляд, сильно преувеличивал возможности матери по части его освобождения. Кроме того, он не учитывал того, что серьезные показания на него в свое время были даны Осипом Мандельштамом. Впрочем, об этом подробно писала Эмма Герштейн. Я не буду останавливаться на этом специально. Он несколько искаженно видел картину. Кроме того, он не помнил о своих показаниях, которые он дал против матери после своего ареста в 1949 году. Дело в том, что существование Ахматовой в советской действительности было двойственным. Она, с одной стороны, в 50-е годы, после смерти Сталина, уже перестала быть персоной нон грата в гражданском смысле, но ореол сомнительности, некоторое табу, некоторая опасность приближения к ней существовала до последнего дня ее жизни. Он этого не понимал. Существует биография Льва Николаевича, написанная одним из его учеников с его слов. В частности, там приводится цитата из письма Ахматовой к нему в лагерь, уже в эпоху оттепели, когда она пишет, что к ней приходил фотограф, фотографировать ее для ТАССа: «Но ты же знаешь, как я не фотогенична», - пишет Ахматова в этом письме. Лев Николаевич, по видимому, считал, и так с его слов написал его биограф, что это ахматовское кокетство и самолюбование: нашла о чем писать сыну, сидящему в лагере – о своей внешности. Это элементарный эзопов язык. Не фотогеничность означала некоторый запрет на публикацию имени Ахматовой, тем более, на публикацию ее фотографии и, кстати говоря, из этого тассовского фотографирования тогда ничего и не проистекло, ничего на страницах печати не появилось. Так что, наверное, с точки зрения историка литературы и с точки зрения историка вообще, он был не прав в своих претензиях к матери, как часто бывает. И не великие дети не великих людей не правы в своих претензиях к родителям.

Иван Толстой: Словно из затонувшего мира предстала Ахматова перед русской эмиграцией в 65-м году, когда совершила поездку в Англию (ей было присуждено почетное звание профессора Оксфордского университета) и в Париж. Своими впечатлениями о встречах делился на волнах Радио Свобода профессор Никита Струве. Архивная запись конца 60-х.

Никита Струве: Как было условлено, в субботу 19 июня 1965 года, ровно в два часа по полудни, я был в гостинице «Наполеон» близ Триумфальной арки, в которой остановилась Ахматова. Прошу обо мне доложить. Раздается телефонный звонок, служащий передает мне трубку: «Это Вам», и слышу медленный, густой, глубинный голос: «Здесь Ахматова. Вы уже приехали? Простите, я задержалась в городе, сажусь в машину». Отвечаю как-то нелепо, оробев: «Вас можно подождать?». И тот же голос, возмущенно-ласковый: «Ну, конечно, я для этого и звоню. Сейчас еду».

Имя Ахматовой по телефону голосом самой Ахматовой! Тут было с чего смутиться. Минут через 20 подъезжает машина. Подхожу, немножко издали, выжидая. Лицо Ахматовой озаряется приветливой улыбкой, глаза сияют весельем, любопытством и добротой. Это то мягкое, простое, оживленное лицо Ахматовой, для меня незабываемое, но которое совершенно не передают фотографии. На них Ахматова всегда какая-то окаменелая.

«Вы по мою душу? Идемте». В лифте, как странно, как невероятно очутиться в парижском лифте с автором «Четок» и «Реквиема».

«Была точь-в-точь такая же прекрасная погода 50 лет назад, когда я уезжала из Парижа». Это были первые слова Ахматовой. На мой вопрос тут же, узнаваем ли Париж, – «Нет, совсем не узнаваем. Это не тот город». Когда зашли в комнату, где по-русски всюду что-то валялось: «Боже, какой беспорядок!». Ахматова села спиной к окну в кресло, на котором так и осталась, не вставая даже на звонки, отвечать на которые приходилось самим посетителям. «Садитесь ближе. Я глухая. Спрашивайте, я, как Larousse, – отвечаю. Впрочем, вас больше интересует Мандельштам». Анна Андреевна прослышала от моих студентов, что я большой поклонник Мандельштама и собираю о нем материал. И беседа началась. Но о Мандельштаме Анна Андреевна рассказала немного, зная, что я читал ее воспоминания о нем. «Жена Осипа Эмилевича, Надежда Яковлевна, до сих пор мой ближайший друг. Лучшее, что есть во мне». А потом, с оттенком задумчивости и грусти: «Это был на редкость счастливый брак». «Правда, Мандельштам, – прибавила она, – влюблялся часто. Но быстро забывал. Успеха у дам не имел никакого. В меня он был влюблен три раза. Любил мне говорить: «Наденька наши стихи любит только твоя мама, да Анна Ахматова». Умер он в лагере голодной смертью. Боялся, что его отравят. Оттого же умер и Михаил Зощенко, – прибавила Ахматова, – превратившийся перед смертью в собственную тень».

Но скоро разговор перешел на творчество самой Анны Андреевны. Я ей сказал, что читал о ней лекции, но что мне было трудно о ней читать. Ахматова ответила: «Это

простительно не понимать моей поэзии. Ведь главное еще не напечатано». Но что это главное, она тогда не пояснила. В дальнейшем ходе беседы она часто поминала трагедию «Сон во сне», цикл «Черенки», близкий к «Реквиему», как она сказала, цикл «Черные песни». С тех пор все эти циклы так и не появились в печати. Перепутав когда-то оба названия - «Черенки» и «Черные песни», - я как-то переспросил: «Черные песни» - это то, что близко к «Реквиему»? На что Ахматова ответила по-французски: «C'est tout le contraire» - ровно противоположное.

«Но вот как бывает, - сказала она мне, - недавно, в связи с моим 75-летием, в «Новом мире» разрешили что-то пикнуть. Поручили написать заметку Андрею Синявскому. Он знал всю мою поэзию, но так меня и не понял. А вот Недоброво (это русский критик до революции) знал только первые мои две книжки, а понял меня насквозь, ответил заранее всем моим критикам, до Жданова включительно. Его статья, напечатанная в одной из книжек «Русской мысли» за 15-й год - лучшее, что когда-либо обо мне было написано. Это ваш дед Петр Бернгардович ее заказал. А с Синявским я встречалась в Москве, говорила ему, но как его ругать, ведь он такой хороший, его так молодежь любит».

Тогда мы не знали, ни Анна Андреевна ни я, что Синявский - автор «Фантастических повестей». Тогда Синявский не был еще арестован. Но я теперь бережно храню этот лестный отзыв, такой добрый, простодушный, непосредственный отзыв Ахматовой о несчастном Андрее Синявском.

Я понял из разговора, что Ахматова тяготилась тем, что для многих, особенно в эмиграции, она оставалась поэтом «Четок» и «Белой стаи», поэтом дореволюционным. Она возмущалась этим. «Откуда это они взяли все, не понимаю. Пишут, что я 18 лет молчала. По какой это арифметике они учились?».

Меня интересовали судьбы некоторых писателей. Я позволил себе спросить Анну Андреевну, известно ли ей что-нибудь о судьбе «голубоглазого гимназистика» Сережи Соловьева, поэта-символиста, ставшего в 17-году священником. Ахматова задумалась и спросила: «А вам это, действительно, интересно? Рассказать? Это страшная история. Его взяли в 1937 году, в тюрьме он сошел с ума, как почти все у нас, жил на попечении дочерей, в каждом стуке ему казалось, что для него готовят виселицу. Раз как-то он выбежал, кажется, полуодетый на улицу и спросил первого попавшегося милиционера: «Я знаю, что меня должны расстрелять. Но не знаю, куда нужно идти». А тот ему ответил: «Не беспокойтесь, товарищ, когда нужно будет, за вами пришлют». Ну, а потом он умер - то, что называется «своею смертью»».

Зашел разговор о Марине Цветаевой, а с ней и о других злополучных возвращенцах. Ахматова стала вспоминать о своей встрече с Цветаевой в 40-м году

в Москве. «Шли мы как-то вместе с ней по Марьиной роще, а за нами два человека шло. И я все думала: за кем это они следят – за мной или за ней?».

Я тогда ее спросил: «Это после этой встречи вы написали замечательное стихотворение, которое, к сожалению, в советской России так и не появилось»:

Невидимка, двойник, пересмешник,

Что ты прячешься в черных кустах,

То забьешься в дырявый скворечник,

То мелькнешь на погибших крестах,

То кричишь с Маринкиной башни:

«Я сегодня вернулась домой.

Посмотрите, родимые пашни

Что за это случилось со мной».

«Нет, - сказала Ахматова, - это было уже написано, но я не посмела тогда ей это прочесть. Вас, наверное, это удивляет?». Мы стали говорить о гибели Марины Цветаевой, о той роли, какую сыграл ее сын, может быть, в этой гибели. «Да, - подтвердила Анна Андреевна, опять так задумчиво-грустно, - это, верно, так обыкновенно бывает, когда безумная родительская любовь балует, а потом так оборачивается. Он, кажется, даже на похороны не пошел. Я его хорошо знала в Ташкенте. Он там жил, в том же доме, что и я. Я ему на полке хлеб оставляла. Он приходил брать. Этот ташкентский хлеб, тяжелый как камень, я есть не могла. Как он умер, осталось неизвестно. Никакого официального сообщения о его смерти не было».

Иван Толстой: Если я правильно помню, одним из упреков Льва Николаевича Гумилева было то, что Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием на

втором съезде Союза советских писателей в 1954 году, не воспользовалась, чтобы с трибуны или каким-то иным образом заявить о своем сыне, который, по-прежнему, отбывал наказание в лагере. Как вы думаете, возможен ли был для Ахматовой такой вот шаг на съезде?

Роман Тименчик: Нет, он был решительно не возможен. И Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием на съезде, если уж продолжать эту риторическую конструкцию, даже для публикации своих собственных стихов. Я сейчас не включаю стихи специально написанные, официальные, советские стихи. Она не могла пробить стену неглавного табу на публикацию новых стихотворений, особенно содержащих какие-то трагические нотки. Как мы сейчас понимаем, это было совершенно невозможным.

Иван Толстой: Давайте отступим шаг назад. Мы ушли в середину 50-х годов. А если вернуться к первым послевоенным годам, историки называют отправной точкой холодной войны самые разнообразные события. Кто-то упоминает Фултонскую речь Черчилля, кто-то «длинную телеграмму» Джорджа Кеннана, кто-то еще какие-то обстоятельства. Анна Ахматова считала началом холодной войны, по крайней мере, одним из факторов, свою встречу с Исайей Берлином, которая произошла в первые послевоенные месяцы в Ленинграде. Что имела в виду Анна Андреевна, говоря об этом?

Роман Тименчик: Я думаю, что Ахматова представила свою поэтическую версию событий, как и полагается поэту. Фултонская речь случилась до ждановского постановления. Логика развития взаимоотношений западного мира с Советским Союзом была предопределена до этого. Но несомненно одно: что то, что произошло в августе 1946 года, подтвердило все те формулировки, которые иносказательно применил, по отношению к коммунистическому миру, Уинстон Черчилль в своей Фултонской речи о полицейском государстве, о тирании, о власти, навязывающей с помощью политической полиции себя простым людям и семейному очагу. И мы знаем, что для очень многих западных интеллигентов пророчество, прогнозы и казавшиеся до этого гиперболами формулировки Черчилля подтвердились после того, как они узнали о ждановской кампании 1946 года. Повторяю, не для всех. Для Луи Арагона, например, это ничего не значило, и он написал предисловие к переводу доклада Жданова на французский язык.

Что действительно внесло некоторые изменения в исторически процесс - это то, что произошло в некотором частном историческом секторе, но для нас достаточно важном, – то, что произошло в русской эмиграции, многие представители которой к середине 46 года склонялись к возвращению в Советский Союз. Мы знаем, что подобные переговоры вел Иван Алексеевич Бунин, как будто собирался вернуться в Россию Алексей Михайлович Ремизов и многие другие. Обнародование ждановского доклада пресекло какие-то иллюзии, какие-то надежды и какие-то конкретно жизненные планы очень многих людей. Я в своей книжке («Анна Ахматова в 60-е годы») цитирую замечательное письмо Александра Николаевича Бенуа к своему сыну Николаю Бенуа, в котором объясняется: вот куда ты хочешь ехать.

Мы знаем, на примере очень многих эмигрантских биографий, как сложившееся уже решение о возвращении в Советский Союз отменилось после появления этого, как сказала эмигрантская поэтесса Марианна Колосова, «жестокого и мстительного удара по Ахматовой». Так что в этом смысле, в какой-то части всеобщей исторической картины, это постановление действительно ее изменило.

Голос Анны Ахматовой:

Ты ли, Путаница-Психея,

Черно-белым веером вея,

Наклоняешься надо мной,

Хочешь мне сказать по секрету,

Что уже миновала Лету.

И иною дышишь весной

Не диктуй мне, сама я слышу:

Теплый ливень уперся в крышу,

Шепоточек слышу в плюще.

Кто-то маленький жить собрался,

Зеленел, пушился, старался

Завтра в новом блеснуть плаще.

Сплю –

она одна надо мною.

Ту, что люди зовут весною,

Одиночеством я зову.

Сплю –

мне снится молодость наша,

Та, е г о миновавшая чаша;

Я ее тебе наяву,

Если хочешь, отдам на память,

Словно в глине чистое пламя

Иль подснежник в могильном рву.

25 мая 1945 года

Фонтанный Дом

Иван Толстой: Тот самый «спасительный» цикл стихов «Слава миру», о котором мы уже говорили и который, как известно, Ахматову не спас, был перепечатан во втором томе ахматовского собрания сочинений, выходившего на Западе. Один из первых рецензентов этого тома (или, как он сам называет его – сборника) был

критик Георгий Адамович. В нашем архиве сохранилась запись его выступления. 69-й год.

Георгий Адамович: Естественно бы было приветствовать издание, обрадоваться ему. Между тем, далеко не все в этой книге оправдало бы радость. Кое-что даже тягостно и заставляет спросить себя: правильно ли поступили редакторы сборника, включив в него то, что лучше было бы отбросить и забыть? Разумеется, позже, много позже, когда настанет для Ахматовой время безупречно полных, кропотливых академических изданий, тогда должно будет в них напечатано без исключения все, что она написала. Но следовало ли придерживаться подобного принципа уже и теперь, когда о какой-либо полноте не может быть и речи?

Давно зная покойную Анну Андреевну, имев случай довольно долго беседовать с ней года 4 тому назад, при ее последнем пребывании в Париже, я не сомневаюсь, что появление данной книги огорчило и смутило ее. Пожалуй, даже и раздражило, вызвало бы с ее стороны один из тех желчных упреков по адресу эмиграции, на которые она не скупилась: «Неужели они не понимают?». У меня до сих пор звучат в памяти эти слова, не раз и притом в сердцах ею повторенные. Говорила она тогда о своем положении в России, об опрометчивости эмигрантских критиков, которые, пусть и доброжелательно к ней настроены, но не учитывают то, насколько их похвала, эти комплименты и двусмысленные намеки могут оказаться для нее вредны и даже опасны при возрождении ждановщины, по мнению Ахматовой, вполне возможном. «Неужели они не понимают?» Допускаю, что Анна Андреевна опять, хотя и по другому поводу, воскликнула бы это, перелистав недавно появившийся второй том своих сочинений. Включен в этот том цикл стихов под общим названием «Слава миру», где немало славословий Сталину. Редакторы сборника, наверное, колебались, помещать ли эти стихи. Они напоминают, что стихи подчеркивают труднейшие для Ахматовой времена, что после ждановского доклада она была подвергнута настоящей травле, исключена из Союза писателей и что в 1949 году был арестован ее сын. Решение свое включить «Славу миру» в сборник основывают они на том, что это документ эпохи. «Может быть, - пишут они, - этот цикл, несмотря на свою художественную беспомощность, а может быть и благодаря ей, одно из трагичнейших произведений эпохи. Жертва бессмысленна, но не неизбежна, безнадежная, но понятная психологически». Тут же в качестве объяснения насилия несчастной матери над своей совестью приводят они четверостишие из «Реквиема».

Семнадцать месяцев кричу,

Зову тебя домой,

Кидалась в ноги палачу,

Ты сын и ужас мой.

Не имеет к ней, как к поэту, отношения. Да, это документ эпохи. Однако недоумение остается в силе. К чему было «Славу мира» перепечатывать? Зачем было включать ее в сборник? Никто, надеюсь, не позволит себе высокомерно счесть эти стихи чем-то вроде серного пятна на памяти и репутации Ахматовой. Наоборот, всякий, сколько либо знакомый с ее творчеством, вглядывавшийся, вдумывавшийся в ее духовные черты должен был признать, что цикл этот - это документ эпохи. Той эпохи, о которой Анна Андреевна во вступлении к «Реквиему» сказала, что она была тогда со своим народом «там, где мой народ к несчастью был». Да, она поделила участь и отчаяние бесчисленных матерей и жен. Все это верно, бесспорно. Однако сборник, составленный Глебом Струве и Борисом Филипповым, отнюдь ведь не рассчитан на то, чтобы дать представление об эпохе. Нет, в нем должен быть отражен облик большого, благороднейшего поэта. А «Слава миру» облик этот не отражает, а искажает. Это тем более досадно, что едва ли всем читателям, современным и будущим, навсегда останутся памятные обстоятельства, заставившие Ахматову цикл этот написать и спешно сдать в печать.

Иван Толстой: Продолжаем разговор с профессором Тименчиком. Роман Давыдович, почему так сложно и так драматично складывались отношения Анны Ахматовой и русской эмиграции?

Роман Тименчик: Это очень разветвленный и сложный вопрос. Для начала надо сказать, что русская эмиграция с самого начала числила Ахматову в числе своих, числила Ахматову представителем себя, как считала Ахматова, по ошибке, по внешним обстоятельствам случайно оказавшейся по ту сторону государственной границы. Иван Бунин в интервью 25 года газете «Тайм», говоря о том, что лучшие представители русской литературы оказались в эмиграции, сказал, что, правда, в Советском Союзе осталась Анна Ахматова, но она скорее принадлежит к нам, чем к ним. Поэтому отношения были обостренными, именно потому, что это, в известном смысле, были отношения между своими. Ахматова очень, с самого

начала, с 1921 года, сохранились тому свидетельства, очень интересно реагировала на частую в эмиграции манеру мазать одной краской всех оставшихся, считая оставшихся приспособленцами, сотрудниками тиранического режима, не понимать того, о чем в свое время писал Михаил Лозинский в письме за границу в 24 году, о людях, которые осталась, как часовые на посту. Остались для того, чтобы сохранять остатки культуры, остались выполнять некоторый моральный долг. Ахматова говорила о первых публикациях такого рода эмигрантских, что они ничего не понимают и только лают по-собачьи. Не без некоторого основания.

Иван Толстой: Конечно, отношение эмиграции к Ахматовой менялось, была в них динамика. В конце концов, ее довольно-таки много издавали в эмигрантских издательствах: довоенные публикации, особенно послевоенные. Насколько до Анны Андреевны доходили эти сведения? Насколько она хорошо представляла себе свою эмигрантскую библиографию?

Роман Тименчик: В архиве Ахматовой сохранился такой опыт автобиблиографии, составлявшийся в 60-е годы, где она пыталась перечислить все о ней написанное. Из этого списка видно, что большую часть того, что было в эмиграции, она знала по слухам, по пересказам, иногда очень неверно, иногда приписывая каким-то изданиям большой вес, большую значимость. Действительно, в эмиграции оказалась большАя и бОльшая часть читателей Ахматовой 10-х годов. И все время, видимо, существовала потребность к знакомству с новыми ее сочинениями. Первая эмигрантская книжка Ахматовой вышла в 1921 году, это некоторый курьез, некоторый раритет. Книжка вышла в Загребе и назвалась «12 стихотворений из «Подорожника»». Напечатанная в типографии, в которой был сербохорватский шрифт, но не было русского, поэтому представляющая такой удивительный с точки зрения книговедения экземпляр с очень нелепыми, смешными ошибками, с путаницей в литерах. Видимо, наборщик был серб или хорват. В 23 году выходит книга тоже за границей, второе издание “ Anno Domini ” в издательстве «Петрополис» и «Алконост». Это тоже книжка со своей историей. Это книжка, которая начинается с 9-й страницы. Дело в том, то было вырезано первое стихотворение в книжке, вырезано не советской цензурой, как иногда пишут, а именно издателями, видимо, по согласованию с Ахматовой. Стихотворение, которое могло навлечь на нее какие-то обвинения в контрреволюционности, это замечательное стихотворение, которое получило потом название «Петроград 1919», стихотворение об оставшихся, которые любят свой город а не «крылатую свободу». И впоследствии в эмиграции появлялись перепечатки ахматовских стихов, даже в конце 40-х годов было такое любопытное явление – эмигрантский самиздат. В

Париже существовало несколько экземпляров книжки, якобы вышедшей в ССР, но ничего подобного в СССР, конечно, не выходило, и приписывался этой книжке статус копии советского издания под названием «Стихи разных лет». Там были собраны послевоенные журнальные публикации Ахматовой и в состав этой же книжки были включены два стихотворения Александра Прокофьева. Потом они перекечевали в первое академическое эмигрантское издание Ахматовой - спустя два десятилетия.

Иван Толстой : Своими воспоминаниями делится петербургский поэт-переводчик Игнатий Михайлович Ивановский.

Игнатий Ивановский: В Турине, городе нынешних Олимпийских игр, несколько лет назад была издана книга «Записные книжки» Анны Ахматовой. В списке упомянутых в этом списке фамилий я нашел и свою. Через 37 лет после кончины Анны Андреевны получил от нее привет. Вот запись о «Поэме без героя». У Ахматовой были собственные комментарии к поэме, которыми она иногда делилась с собеседниками. «Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных объяснений Ивановскому, он сказал: «Я чуть не крикнул посередине: Перестаньте, не могу больше! Ведь то, что вы читаете, это та же поэма, но в прозе. Это невыносимо»».

И еще записи: «Ивановский с розами. «Полночные стихи» Ивановскому» - то есть, обещана копия «Полночных стихов». Приходя к Ахматовой, я невольно, боковым зрением наблюдал, с какой убежденностью и тончайшим искусством творила она собственную легенду, как бы окружала себя сильным магнитным полем. Легенда не была умозрительной: изображение скорби, печали, грусти, этой изнанки человеческих радостей - органический дар Ахматовой. «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне».

В колдовском котле постоянно кипело зелье из предчувствий, совпадений, собственных примет, роковых случайностей, тайных дат, не встреч, трехсотлетних пустяков. Было там и многое другое, о чем сказала сама Ахматова:

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда

О своей любимой «Поэме без героя» она говорила, глядя сквозь стены и поверх голов: «Гадина!».

В этом слове слышалась как бы далекая жалоба, даже отголосок отчаяния – уж очень неотступно преследовала Ахматову ее поэма. Еще одно слово Ахматова произносила на разные лады и иногда насмешливо: «Беда».

У Ахматовой не было двойственного отношения к людям. Она или верила человеку до конца, или не верила совсем. На дворе стоял 55 год, Сталина и Берии уже не было, но политическая ситуация была неопределенной и шаткой. И вот, однажды, Анна Андреевна, стоя у окна, сделала мне знак подойти. Я подошел и невольно покосился в окно. На другой стороне улицы прогуливался топтун – сотрудник секретной службы. За квартирой велось наружное наблюдение. Ахматова сказала: «Ближе, еще ближе». И, понизив голос, начала читать стихи – «Реквием».

И если зажмут мой измученный рот,

Которым кричит стомиллионный народ,

Пусть также они поминают меня,

В канун моего погребального дня.

А если когда-нибудь в этой стране

Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье за это даю торжество

Но только с условием - не ставить его

Ни около моря, где я родилась:

Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,

Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов

И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь

Забыть громохание черных марушь,

Забыть, как постылая хлупала дверь

И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век,

Как слезы, струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,

И тихо идут по Неве корабли.

Игнатий Ивановский: Я слушал, не помня себя. И потому что Анна Андреевна совершала опасный поступок (всего год назад эти стихи обернулись бы тюрьмой и лагерем), и потому, что это чтение означало ее полное доверие к собеседнику, и, разумеется, сами стихи сделали свое дело. Мне было 23 года, и я был крепким малым, фехтовальщиком, но тут вдруг почувствовал, что по щекам текут слезы. Никогда со мной этого не бывало. Как в тумане я оказался за чайным столом. Говорить я не мог. Мы промолчали. Ахматова внимательно на меня смотрела и, наконец, спросила: «Что вы скажете об этих стихах?». И я услышал свой голос, который произнес, с запинкой: «Это очень интересно». После этого нелепого, полусумасшедшего ответа вполне можно было указать мне на дверь. Но Ахматова прекрасно поняла мое состояние, а словами просто пренебрегла. И царственно кивнула в знак благодарности – поблагодарила за слезы, и за то, что я хотел бы, но не смог сказать.

Живя в Архангельской области, я, время от времени, приезжал в Ленинград. В первый же приезд побывал у Ахматовой. Она с большим интересом слушала рассказы о сельской жизни, о людях, нравах, языке. Потом разговор зашел о датах

рождения. Ахматова придавала им большое значение. Совпадения, тайные даты не встречи, трехсотлетние пустяки -это был ее инструментарий. Я, между прочим, сказал, что день моего рождения послезавтра, мне исполнится 31 год, я родился 1 апреля. Анна Андреевна слегка подалась назад и внимательно на меня посмотрела: «Не может быть». Как законопослушный советский человек, всегда носящий с собой паспорт, я предъявил его, раскрыв на нужной странице. Ахматова взяла документ и, глядя в него, призадумалась. Прошло несколько минут, и я недоумевал, что могло задержать ее внимание. Потом она сказала, возвращая паспорт: «Этой милой подробности я не знала».

Прошло почти 40 лет, и, перечитывая в ахматовском томе известную вереницу четверостиший, я вдруг остановился на давно знакомых строчках:

Взоры огненной огня и усмешка Леля.

Не обманывай меня, первое апреля.

Остановился потому, что на этот раз обратил внимание на год написания – 1963-й. Заглянул в комментарий – так и есть, 31 марта. Ахматова могла сочинить это четверостишие, держа в руке паспорт, или вечером после моего ухода, или наутро, но записала его и поставила дату на следующий день. Все это я рассказал доброй знакомой не намного моложе Ахматовой. Рассказал и добавил, что мое положение совершенно безответственно. Никто не может доказать, что это четверостишие не обо мне, а я не могу доказать, что оно обо мне. И услышал в ответ: «Вы ошибаетесь. Анна Андреевна как всегда попала в десятку. Доказательств не требуется. Когда я вспоминаю о вас, первая мысль – усмешка Леля». Ахматовой уже давно нет в живых. Вместе с другими, куда более важными тайнами, она унесла с собой тайну четверостишия, записанного 31 марта 1963 года. В этом эпизоде меня интересует, разумеется, не собственная персона, а что означало на светском, дамском жаргоне 1913 года выражение «усмешка Леля». Если кто-нибудь в мемуарах или устной беседе надет разгадку, очень прошу сообщить ее мне.



Иван Толстой

Другие статьи и программы здесь: [Герои Ив.Толстого](#)

🔊) Анна Ахматова. Повтор программы от 5
марта 2006 года

Радио Свобода © 2026 RFE/RL, Inc. | Все права защищены.